

– Это же детство, – говорит Саша и будто бы уже не обращает эти слова к Кате, а произносит их для себя, как бывает иногда в разговорах, когда та или иная тема затрагивает особенно чувствительные моменты прошлой жизни, и такой переход как бы ослепляет говорящего, переносит все его внимание к воспоминаниям. Саша не замечает, как мышцы его невольно расслабляются, лицо разглаживается, голова медленно склоняется набок, а взгляд опускается к своим рукам; он не замечает и улыбки на своих губах только потому, что она не стоит ему никаких физических усилий. Со стороны, наверное, может показаться, что Саша постепенно погружается в сон с каким-то прекрасным видением перед глазами и с некоторым оттенком блаженства на лице. Кажется, он не замечает, как повторяет уже произнесенную фразу: – Это же детство. В нем все так просто: бывает либо весело, либо скучно. Разве у тебя такого не было? – С последними словами взгляд широко раскрытых глаз Саши устремляется к черным глазам Кати, словно бы желая отыскать в них тот же отклик, какой эти слова находят в его сердце. В *весело* и *скучно* Саша вкладывает куда больший эмоционально-чувственный диапазон, но ведь в детстве все куда проще...

Еще до того, как Катя начинает отвечать, Саша замечает в ее лице и глазах отсутствие того желаемого отклика, и отсутствие это делает ответ

предсказуемым, пустым, бесполезным, а саму Катерину – еще более чужой, более искусственной и менее человеческой.

– Каждый наш разговор, который продолжается больше десяти минут, открывает тебя так, – говорит Саша, откинувшись на стуле, скрестив руки и испытывая такого рода раздражение, которое возникает при полном непонимании друг друга в пространстве незримом, чувственном, несмотря даже на то, что, может быть, у обоих имеются схожие или даже идентичные чувства, эмоции, настроения, однако и те и другие никак не могут, да и никогда не смогут найти общего канала для связи между собой, и неважно, какие слова будут сказаны, какие поступки будут совершены. Просто бывает так, что определенные люди в этом чувственном пространстве совершенно слепы по отношению друг к другу, даже более того: какая-то сила противостоит сближению их. – Будто ты – не ты, – договаривает Саша, – и я разговариваю с совершенно *незнакомой* женщиной.

Хотя слова Саши могут показаться комплиментом к некой многогранности и личностной глубине Кати, но на самом же деле ими он желал выразить совсем другое: ведь сколько бы они ни говорили между собой, сколько бы ни выказывали себя в рассказах и поступках, они так и останутся чужими друг для друга. Этот разговор был, наверное, по-

следней подсознательной попыткой отыскать в душе Кати что-то родное, что-то схожее, что-то такое, что могло бы сделать ее частью Саши. И даже если это *что-то* и существует в Кате, то оно никогда не позволит себя отыскать в этих непроглядных черных глазах. «Наверное, и душа ее такая же черная, и сердце тоже», – думает Саша, со злостью смотря, как Катя направляется в свою комнату, как переодевается, а затем направляется к выходу. Непонятно почему, но именно в этот момент Саша испытывает неимоверную потребность в том, чтобы Катя осталась дома, чтобы в ней обнаружилась пусть совсем крошечная частичка человеческого тепла, проявление которой не потребует от нее равнодушных расчетов и всего того прочего, что так свойственно ее характеру; ведь всякие расчеты, размышления о выгодах – все это убивает душевность любого поступка одного человека по отношению к другому и приносит унижительную, мерзкую механизированность. «Наверное, водитель вкладывает больше души, когда протирает приборную панель своего автомобиля салфеткой, чем когда *она...* – все сильнее раздражается Саша, смотря исподлобья на обувальную Катерину. Руки его вытянуты по швам, кулаки крепко сжаты, а плотно сомкнутые губы вздрагивают так, будто он хочет то ли улыбнуться, то ли расплакаться. Весь его вид напоминает обиженного и озлобленного ребенка. – Когда *она* целует, обнимает или говорит что-либо утешительное».

Катя не прощается и даже не оборачивается. Во всех ее движениях, даже самых простых, вроде завязывания шнурков, нельзя не заметить какой-то особенной неспешности, плавности, задумчивости, какие свойственны человеку не просто одинокому, но тому, кто не замечает присутствие других людей; не видит, не слышит, как бы не догадывается о наличии в них души. И потому Саша чувствует себя словно запертым в мыльный пузырь; он чувствует бессилие, которое порождает злость и раздражение – на себя и на весь мир. Однако все это переживание в целом отдает болезненной ностальгией. С каждой секундой Саша вспоминает все то, что до сих пор не может забыть. Не может забыть потому, что не в силах простить.

В следующий момент окно в спальне распаивается, возникший сквозняк вырывает дверь из руки Катерины и захлопывает ее с такими силой и шумом, что Саша невольно зажмуривает глаза, как от внезапной боли, и вздрагивает. Вся эта ситуация, а в особенности прохлада и запах осени в сквозняке, тотчас возвращают Сашу на двадцать два года назад, в его десятый день рождения. Тогда Саша так

же стоял в коридоре напротив входной двери, как стоит сейчас; он так же смотрел на уходящего отца, как мгновение назад смотрел на Катерину; и отец его в тот момент двинулся и вел себя именно так, будто бы Саши не просто не было рядом, но и не существовало вовсе. И тот же грохот захлопываемой двери, и тот же холодный сквозняк с особенным запахом рыжей осени. Несмотря на свой возраст, Саша каким-то чувством знал, что все случится именно так и отец уйдет. Знал, но верил, что все это не сбудется, как не сбываются многие детские страхи. И тем ужаснее стал момент побега отца, что страх этот материализовался; а когда один из потаенных страхов в один лишь миг из мысли превращается в непреодолимое и необратимое действие, которое осязается физически, осязается душевно, именно тогда возникает тревожное ожидание того, что и все остальные страхи вскоре так же перестанут существовать только лишь в голове.

Когда отец обувался, Саша кричал как мог: и ругался, и молил того остаться, бросался к ногам, рыдал, и жаждал разорвать на себе и одежду, и кожу, чтобы только показать, насколько больно его сердцу. Но отец не реагировал. Не реагировал потому, что Саша стоял на месте, бледный, со сжатыми кулаками и злобным взглядом голубых глаз исподлобья. Все же рыдания, мольбы и крики происходили в сердце Саши, в его мыслях, которые никак не переходили в действие. Наверное, потому, что им просто не было место среди происходящего – своим равнодушием отец занял собой все пространство. И как бы Саша ни хотел, он не мог сделать даже шагу, не мог выдавить тогда и слезинки; но расплакался, закричал и, когда захлопнулась дверь, бросил первое, что попало под руку. Бросил в то место, где минутой ранее находился отец. Саша бросил крошечную вазу в того призрака отца, который снова и снова уходил, который снова и снова захлопывал за собой дверь, раз за разом, исчезая и появляясь вновь. После вазы он бросал стакан, ручку, ключи и все то, что еще находилось на комод. Он бросал и бросал, но призрак отца не реагировал и все так же равнодушно уходил, бросая дверь, позволяя холодному осеннему сквозняку ее захлопнуть.

Когда же на комод ничего больше не осталось, Саша несколько мгновений слепо шаркал по столешнице пальцами, скребя ее ногтями, затем развернулся к ней и в отчаянии выбросил перед собой обе руки, желая то ли ударить комод, то ли толкнуть его, однако из-за тяжести того Саша оттолкнул себя; он выставил было ногу, чтобы вернуть себе равновесие, но оступился и упал. От сильной боли

в копчике у Саши перехватывает дыхание. Находясь в метре от неподвижного комода, он с рыданиями поочередно бьет ногами по воздуху, как бы защищаясь, будто комод этот приближается и грозит обрушиться на него. В следующий момент Саша поднимается на ноги, но вновь спотыкается и падает на осколки от разбившейся керамической вазы.

Часом позже вернувшаяся Арина Сергеевна обнаруживает сына с воспаленными, влажными и как бы стеклянными глазами, гладким, бледным лицом, с запекшейся кровью на бедре и предплечье. Маленький Саша сидел на коленках, сгорбившись и покачиваясь, с поднятой головой и ничего невидящим взглядом, руки его плетью свисали с плеч.

– Господи!.. – мгновение спустя выдохнула Арина Сергеевна, и шепот ее звучал как молитва: трепетно, со страхом и надеждой. – Господи!.. – повторила она, невольно протягивая дрожащую, сухую руку к Саше, но затем, словно, обжегшись, одернула ее и коснулась своих губ. Арина Сергеевна сорвала с головы платок и бросилась к сыну, который только тогда обратил на нее внимание, когда она сжала его лицо в своих руках и силой обратила к своему лицу. – Саша!.. Сашенька!.. – прошептала Арина Сергеевна голосом дрожащим, с некоторым отчаянным торжеством, будто бы произошло наконец событие трагическое, тяготящее душу и сердце, но свершение его теперь должно принести облегчение. – Это должно было случиться, должно, Саша, понимаешь? И хорошо, что это случилось, хорошо, ведь теперь станет легче, легче, понимаешь? – Она сжимает Сашу в своих объятиях, быстро целует его лицо и никак не замечает его взгляда, в котором одно только детское непонимание того, как может быть хорошо, как может быть легче, если *так* больно. – Просто покорись этому, – быстро говорит Арина Сергеевна, – покорись и не думай над причинами, хорошо? Не нам знать причины истинные, не нам судить, просто так надо! Если это произошло, значит, так надо, и надо покориться! Все будет хорошо, – шептала она и прижималась своей щекой к щеке Саши. Успокоившись, Арина Сергеевна отстраняется от сына, но не выпускает его лица из своих рук. Кажется, только сейчас она замечает кровь на его теле, следы которой после объятий виднеются и на ее одежде. Арина Сергеевна встала, а затем подняла с колен Сашу и отвела его в ванную, смыла кровь, умыла его лицо, перевязала неглубокие порезы, после чего причесала и отвела в свою комнату.

Именно последующие минуты стали особенными в жизни маленького Саши, когда мать, шурша сво-

ей длинной черной юбкой, проводила его к постели; а после того, как она нежно поцеловала Сашу в светлые волосы, в ее руке словно из ниоткуда оказалась небольшая, умещающаяся в ладони потрепанная книжка, которую она положила перед Сашей на постель.

– Оно всегда спасало меня, – произносит Арина Сергеевна голосом ласковым, но с оттенком странной покровительственности, какая тотчас превращает родную мать в существо как бы не родное, чужое; при таком поведении будто бы убираются всякие чувственные и инстинктивные привязанности, какие обычно мать испытывает к сыну; вместо них в поведении Арины Сергеевны, в ее движениях и взглядах, в ее голосе и интонациях, все в ней начинает сквозить каким-то священным долгом, не соблюдать который попросту не в ее силах. В такие моменты во всех ее поступках чувствуется присутствие посторонней воли. – Всегда спасало и продолжает спасать. И меня, и мою душу. Оно поможет, – шепчет Арина Сергеевна на ухо Саше, – не делай усилий к тому, чтобы верить или не верить, просто впусти это в себя; впусти, и пусть твое сердце само определит. Ответ придет тебе не мыслью, а чувством. Ты не сможешь пропустить и не понять его. Старайся не мешать себе разумом – пытаться понять или осмыслить. Любые мысли сеют сомнения, а в сомнениях нет правды. Правда приходит чувством. – Она еще раз целует Сашу в макушку, шумно вздыхает, а затем выходит из комнаты и аккуратно закрывает за собой дверь.

Неясно, сколько времени маленький Саша простоял перед кроватью, но опомнился он, когда в комнате начало темнеть. Солнце опустилось за горизонт, и слабый, сумеречный свет, проникая в единственное окно, как бы обесцвечивал не только все вещи вокруг, но и, кажется, всю жизнь. Саше казалось, что все меркло и умирало.

В момент ухода отца между ним и сыном будто бы натянулась неосознаваемая цепь, которая соединяла их до настоящей минуты и которая после грохота захлопывающейся двери не разорвалась и не растянулась – она осталась в отце, таким образом вырвавшись из маленького Саши вместе с какой-то его частью и оставив глубокую, ноющую пустоту.

В соседней же комнате Арина Сергеевна тихо молилась, стоя на коленях перед кроватью и опустив голову на сцепленные в замок пальцы рук. Она знала, что Саша жаждет *ее* присутствия в такой тяжелой момент, жаждет *ее* ласки, *ее* внимания, но, вопреки тому, нужно оставить его наедине с *Ним*; правильнее, чтобы Саша нашел утешение не в мате-

Солнце опустилось
за горизонт, и слабый,
сумеречный свет,
проникая в единственное
окно, как бы обесцвечивал
не только все вещи вокруг,
но и, кажется, всю жизнь.
Саше казалось, что все
меркло и умирало.

ринской ласке, а наставлениях и напутствиях *Его*. И нашел их бы сам, и принял бы их. «В моих силах уменьшить боль, но не в моих силах открыть путь к спасению, – думала Арина Сергеевна, – не в моих силах наставлять его, он должен прийти к этому сам, своими силами, своим сердцем. И сейчас самый подходящий для того момент! Мое же присутствие только все усугубит, оно уверит его в том, что утешение есть только лишь в объятиях близкого и родного человека. К остальному он останется слеп, и это погубит его, погубит, и потому он сам должен прийти, сам, без принуждения!»

Все слова, произнесенные матерью, кажется, продолжали витать около маленького Саши, продолжали звучать в его голове сухим шепотом, похожим на шум ветра, запутавшегося в сухой листве. Смысл же сказанного ею оставался для Саши недоступен. Он помнил каждое ее слово, но не видел в нем целостного образа, не видел потому, что видеть хотел совсем другое – Саша хотел найти ответы на вопросы. Почему ушел отец? Как его вернуть? Что нужно для этого сделать? Кто в этом виноват? Ответы на эти вопросы принесли бы некоторое облегчение хотя бы осознанием причин; они дали бы надежду на возможность исправления произошедшего. Но их нет. И даже в таком состоянии Саша, сохранив способность мыслить, понимает, что должен возненавидеть отца, должен обозлиться на мать; должен потому, что он по одному только положению своему является невольным приемником всяческих последствий тех или иных поступков со стороны родителей: какой бы шаг они ни приняли, последствия его обязательно затронут его, и неважно, берет ли они ответственность или нет.

«Принятие ответственности вообще является собой особое средство для притупления чувства вины или прочих проявлений совести», – позже подытожил Саша, вспоминая все произошедшее, но уже с высоты своего жизненного опыта.

В случае с Сашей ответственность эта принимала форму своевременной выплаты алиментов. Ведь именно так откупаются от отцовства; ведь именно так откупаются от собственной совести, когда совесть эта выстроена положениями конституции. Довольно просто откупиться от отцовства, но невозможно какими бы то ни было деньгами купить отца.

Несмотря на все свои мысли, Саша не мог злиться на мать, не мог злиться и на отца. Быть может, такая отстраненность была следствием религиозного воспитания матерью; быть может, причина была в восприятии отца как человека, которого Саша любил так же сильно, как и боялся. «У папы очень ответственная, важная и очень опасная работа», – отвечала Арина Сергеевна, когда Саша спрашивал о том, кем работает его отец; никакой конкретики, никаких намеков, только пространственные и короткие описания, которые могут охарактеризовать множество работ. Однако такая характеристика деятельности отца соответствовала его внешности и поведению. Несмотря на крепкое сложение Игоря Андреевича, в движениях его присутствовала некоторая ловкость, которую никак не ожидаешь встретить. Он не имел привычки смотреть на собеседника только лишь затем, чтобы выказать свое внимание. Саше казалось, что каждый взгляд, в котором всегда присутствовали усталость или какая-то леность, каждый взгляд его в глаза или на какую-нибудь часть тела всегда как бы отмечал, обнаруживал или уличал в чем-то и тем самым предоставлял куда больше информации, чем того хотел бы его собеседник. Интонации голоса Игоря Андреевича никогда не соответствовали его мимике: он мог кричать, мог говорить ласково, а мог говорить таким особенным шепотом, каким обычно выражают самые серьезные угрозы, но никогда Саша не замечал изменение на его гладком лице, которое в такие моменты больше походило на восковую маску. Вообще Игорь Андреевич говорил мало и общался с сыном часто посредством жены. «Саша сегодня отличился на математике», – говорила Арина Сергеевна. Игорь Андреевич же тогда поворачивался к сыну и своим взглядом словно бы искал подтверждение или опровержение услышанному; когда же он уверялся в правдивости и в отсутствии всяких преувеличений, то кивал и говорил: «Хорошо!»

Пауза между словами матери и конечным итогом, высказываемым отцом, всегда вызывали в Саше стран-

ного рода страх, потому что сам итог, пусть и короткий, сухой, озвученный без всякого выражения и чувства, имел для Саши самое решающее значение. Подтверждение отца особенным явлением, которое свидетельствовало, что событие это свершилось на самом деле и последствия его имеют какую-то значимость. Наверное, если бы Саша спас человеческую жизнь и услышал от отца что-то вроде: «Пусто это», то спасенный им человек тотчас бы умер.

И сейчас, стоя в своей комнате перед кроватью с находящимся на ней Евангелием, Саша не чувствует злости, но чувствует что-то новое, чего раньше никогда не чувствовал: странного рода принятие произошедшего со всеми его последствиями. Это новое чувство уверяет, что так должно было произойти, только так и никак иначе, и что малейшие непринятие этого случая, малейшие отклонения в сторону от заданного пути ведут только к большим страданиям, а принятие ведет к покою. Не мыслью, а именно чувством маленький Саша понимает, что принятие тождественно прощению; и что тем особенно это принятие, что для прощения не требуется понимания всех причин случившегося. Когда он наконец подошел к кровати и опустился перед кроватью на колени, была уже ночь. Все вокруг поглотила тьма, и только через окно, справа от Саши, проникал серебристый свет от поднявшейся уже луны и косым лучом высвечивал лежащее Евангелие. Взволнованное, глубокое дыхание Саши разогнало лоснящиеся пылинки, парившие над книгой. Он протянул к ней руки, крепко сжал пальцами обложку, но не открыл, – часто читаемое вслух матерью, а впоследствии и самим Сашей, содержание Евангелия никогда не покидало его памяти; да и в настоящую минуту он не имел потребности в чтении, он жаждал касаться его, таким образом будто бы касаясь чего-то сакрального, священного, чего-то спасительного и успокаивающего. И чувство это похоже на то, когда человек наконец находит тот самый ключ от всех дверей, универсальную формулу для ответов на все вопросы, для решения всех задач; оно похоже на озарение, на ощущение приобретения чего-то необъятного, бесконечного. Саша не сразу замечает, как тяжелые, горячие слезы просачиваются сквозь сжатые веки и, скатываясь к подбородку, оставляют соленый привкус в уголках губ. В этот же момент Саша чувствует свершение что-то особенного и значительного, но вместе с тем он боится, что все это лишь наваждение, некая слабость рассудка, которая пройдет после глубокого сна, и все новые переживания останутся лишь воспоминанием, не оставившим ни единого

следа. Долгое время Саша борется со сном, прикладывая к тому все возможные усилия: он нарочно не ложится в постель, несмотря на боль, продолжает стоять на коленях, однако спустя некоторое время все равно засыпает, и засыпает крепким, сладким сном без сновидений.

Проснувшись, маленький Саша лежал некоторое время без движений и смотрел в одну точку на потолке. Как только ему припомнились одно за другим все события вчерашнего дня, он сначала заробел, взволновался и всеми чувствами своими как бы сжался и попятился от этих воспоминаний, как при приближении оскалившегося пса, собирающегося напасть, но мгновение спустя, когда он припомнил чувства, случившиеся с ним вчера вечером, то необъяснимая радость охватила его. И радость эта стала оттого сильнее, что Саша осознал: чувство то не потеряно и не забыто сердцем, напротив, оно живо, оно наполняет его тем же кротким, радостным спокойствием, каким наполняло ночью во время молитвы. Кажется, что сон без сновидений стал своего рода перезагрузкой, после которой жизнь Саши началась не просто с начала, но с нового и правильного начала.

Именно это чувство теперь как бы впереди всех остальных, и именно оно теперь является перво-степенными глазами и ушами Саши – оно теперь интерпретирует услышанное, увиденное им; оно говорит, что нужно чувствовать, что испытывать, что переживать при том или ином случае. Подчинение и безоговорочное принятие дарует исключительный покой рассудка и души.

За завтраком Саша не рассказал о своем внутреннем преображении, однако он еще не успел заметить, что преобразование это изменило его внешность: бледно-голубые глаза Саши словно бы улыбались; и улыбались такой улыбкой, какая появляется у человека, повидавшего всякое и не способного уже удивляться чему-либо; на лице его появилось выражение кроткой радости и покоя. Все эти новые черты хотя и имели искреннее начало в душе Саши, но никак не шли десятилетнему мальчику; они придавали ему вид несуразный, глуповатый, отчего впоследствии и началась его травля в школе. Арина Сергеевна не могла не заметить эти изменения. Она понимала их причину и внутренне радовалась тому, хотя и никак не выражала своих чувств.

Влияние нового состояния превратило Сашу из ребенка малообщительного в совсем молчаливого, более наблюдательного, замкнутого; без всякой причины часто улыбающегося чему-то своему, что недоступно для других. Много времени проводящего

в единении, не двигавшегося и смотрящего в одну неподвижную точку. Весь вид Саши как бы говорил, что он в отношении всего имеет свое мнение, которое в корне отличается от мнения, приемлемого большинством, и потому, наверное, все дети в школе сторонились его; часто подшучивали и смеялись за спиной.

Обретение веры наполнило Сашу особенной радостью, которой хотелось поделиться с другими, показать, как все просто, как легко может быть в мире, если *верить*, если *уметь прощать*; он никогда не говорил о Боге, никогда не упоминал о вере даже в разговорах с матерью. Саша был уверен, что вера его нуждается в тишине, в покое, что неприемлемым и даже оскорбительным станет какое бы то ни было упоминание о ней в присутствии других людей, пусть тоже верующих. Чувство это особенное, свое, и рассказывать о нем, делиться им означало бы посягать на свободу чувств чужих. Вообще говорить о вере словами, преобразовывать ее в мысль приравнивалось Сашей едва ли не к святотатству.

В церкви же он каждый раз переживал такую близость к Богу, которая приводила его в кроткий восторг. Несмотря на то что не всякий приходящий имел веру, Саша отличал таких людей по взгляду и выражению лица. Он нисколько не сомневался в том, что многие из приходящих людей *не верят*, но страстно того хотят; они свято молятся несколько раз за день, исправно постятся, причащаются, подают бедным и никогда не пропускают ни одного похода в церковь, они словно бы жаждут выжать из всех этих ритуалов некую эссенцию *веры*, впитав которую они тотчас прозреют и обретут состояние блаженства. Однако такие люди так и остаются слепцами.

Много лет спустя Саша отметил, что подобная альтернативная модель присутствует в тренингах по саморазвитию и прочей чепухе: жаждущим успеха людям предлагают соблюдать определенные ритуалы, которые должны привести их к богатству; люди эти ведут бизнес-дневники, записывают идеи, планируют свой день, учатся мыслить «правильно», они жаждут выжать из этого ту же эссенцию, какой хотят прихожане, но все оказывается тщетным, а единственное удовольствие, доставляемое ритуалами, – *правильность* своих действий, своего выбора. Именно *правильность* так важна в жизни каждого человека только потому, что она является единственным лекарством от гнетущего чувства, когда кажется, что вся жизнь до настоящей минуты была неправильной, всякий выбор и всякий поступок – пусты. «Важно знать, что все не зря, что все было правильно, а потому и религия, и подобные тренинги очень действенны и даже полезны для

души, для рассудка, несмотря на практическую их бесполезность», – скажет однажды Саша.

Несмотря на выплачиваемые отцом алименты и зарплату матери, которая после ухода мужа устроилась уборщицей, денег хватало только на самое необходимое, однако качество этого необходимого прямо соответствовало низкой цене. Со временем на одежде Саши появились едва заметные стежки или бирки всяческих фирм вместо латок, хотя выглядел он опрятным, был всегда причесан и умыт. Учился хорошо, с должным уважением относился к учителям, те же отвечали взаимностью; часто болел, но никогда не отставал ни по одному из предметов. Весь мир Саши, все его распространение происходило в несвойственном для его возраста внутреннем, имплицитном пространстве; как и каждый ребенок, он имел жажду познания, жажду изучения, но интерес его мало касался проявлений мира внешнего, материального; а потому всякие попытки сверстников вовлечь его в свои игры оборачивались тем, что Саша с улыбкой покачивал головой и говорил: «Нет, спасибо, но мне нравится просто наблюдать», а затем отходил в сторону. На смешки и оскорбления он отвечал одними только взглядом – не в глаза, а куда-то в сторону – и той же кроткой улыбкой. Но все это воспринималось как снисхождение и высокомерие, которые все больше раздражали его одноклассников.

Со временем насмешки за спиной начали высказываться в лицо, затем обрели характер практический. Но по причине того, что весь мир Саши был скрыт от остальных, все интересовавшее его лежало в пространстве, недоступном для других, а следовательно, недоступном для всякого рода посягательств, он стойко переносил свою новую роль и никогда никому не жаловался, не злился, даже напротив, чувствовал не *потерю*, а *приобретение*. Издевавшиеся над Сашей мальчишки не могли не видеть тщетность своих усилий, и проделки их приобрели новый характер: из простой забавы они обрели конкретную цель – заставить его страдать. Мучители, наверное, подсознательно знали, что известные им средства бесполезны против Саши, и оттого злились еще больше.

С начала нового учебного года, когда Саше только что исполнилось четырнадцать, в их классе появилась новенькая, одна только внешность которой тотчас привлекла к себе внимание всех. Именно в этом возрасте происходят известные изменения, когда мальчики перестают быть мальчиками, а девочки – девочками, по крайней мере, в своем возрастном окружении. Все эти слова обретают для них значение оскорбительное, сродни недоразви-

тости. И потому внешность новенькой обратила на себя особенное внимание со стороны всех парней класса, даже самых тихих и забитых, вроде Шаши. Отдельная же группа парней задиристых, отрицающих всякие правила уважения и свободы других, не осознавая того, сразу же выпрямила спины, расправила плечи; кто-то подавался вперед, облокачиваясь на стол, кто-то, наоборот, скрещивал руки и отклонялся на спинку стула; но на всех их лицах были одинаковые однозначные ухмылочки. Девушки же либо не обращали внимания, либо делали вид, что не обращают внимание на появление новенькой.

Густые светлые волосы, темные брови и темные глаза, цвет которых невозможно определить сразу; только находясь в шаге, можно было разглядеть эти пасмурно-серые глаза. Такой контраст во внешности новенькой вызывал ни на что не похожее чувство. Может быть, именно невозможность выразить его словесно, придав тем самым определенную форму, и делало это чувство еще более сильным. Потому что в подростковом возрасте неподдающиеся объяснению вещи или события притягивают к себе сильнее, чем когда бы то ни было; они приобретают некоторый романтизм самых разных оттенков. Однако на одном уроке литературы при устном пересказе отрывка романа Лермонтова «Герой нашего времени» прозвучало заветное название особенности новенькой: порода. «А Василиса – то наша – породистая лошадка!» – выкрикнул посреди урока один парней, и почти весь класс засмеялся. Не смогла скрыть улыбки даже учительница. Однако на следующий же день выкрикнувший эту фразу пропустил первый урок и опоздал ко второму. Лицо его было мрачно и сурово, движения имели характер неестественных аккуратности и сдержанности; против свойственной ему беззаботности и веселости он молчал весь день, ни с кем почти не заговаривал, явно избегал общества Василисы и даже не смотрел в ее сторону. На одной из перемен Саша услышал, что его одноклассника избили ребята из одиннадцатого класса. После этого случая никто уже не позволял публичных комментариев по поводу Василисы.

Первый месяц внимание всех парней забирала новенькая, а потому все нападки на Сашу почти прекратились, однако случай с избиением внушил всем недоступность ее во всех смыслах, и гнев от невозможности мести, от невозможности владения ею обратился на Сашу. Несмотря на это, Саша по-прежнему воспринимал нападки одноклассников как явление природное, стихийное, избежать которого, а тем более судить которое никак нельзя. Раз за разом от чистил одежду и рюкзак от грязных сле-

дов подошв, подбирал брошенный учебник, склеивал порванные страницы, не замечал оскорбления.

Часто невольно, без какого-либо умысла и по долгу Саша засматривался на Василису, на ее лицо, выражающее какую-то духовную усталость; на ее пасмурно-серые глаза, взгляд которых казался настолько тяжелым, что тяжесть эта ощущалась почти физически. Весь вид Василисы как бы говорил, что все происходящее вокруг является чем-то пройденным уже множество раз, будто память прошлых жизней ее жива и таким образом отравляет настоящее ее существование, лишает его контрастов и красок. Мысли Василисы сильно интересовали Сашу; ему хотелось знать, *каким* она видит этот мир, *какой* она видит себя в этом мире, что любит, что ненавидит, *каким* видит свое прошлое и видит ли свое будущее. В Саше присутствовало стойкое убеждение, что Василиса страдает; и страдает не от боли физической, а от наличия в ее душе неизлечимой раны. Ему также казалось, будто в страданиях этих оголяется ее гордость, не приобретенная, а словно бы врожденная, природная гордость. Свойство это неотъемлемо, но выказывает себя только в моменты пароксизма ее страданий; как подводный риф открывается только во время отлива.

«Замечают ли это другие?» – нередко задумывался Саша; он проникался этим видением и невольно наслаждался им, пока однажды в один из таких моментов созерцания Василиса не обратила на него внимание. Сначала к Саше обратились ее глаза, а за ними – лицо. В ту минуту взгляд ее словно бы говорил: «Нравится смотреть на мои страдания? Тогда смотри, смотри же, продолжай, наслаждайся, как наслаждаются *все* вокруг. Я могу сделать свою рану еще глубже, тогда боль станет почти невыносимой, но зрелище это будет радовать тебя и тебе подобных куда больше, правда ведь!» Не более мгновения смотрели они друг другу в глаза, но Саше оно показалось донельзя долгим. Он тотчас отвернулся, покраснев и устыдившись того, что мог наслаждаться гордо-страдающим видом Василисы; наслаждаться в бездействии, как наслаждаются *все*, вместо того чтобы помочь или каким бы то ни было образом облегчить ее состояние. Однако Василиса казалась Саше человеком недосыгаемым, она казалась куда выше его, способнее и опытнее. Одна только мысль о том, чтобы заговорить с ней, а тем более предложить ей свою помощь, напоминала прикосновение грязными, замаранными руками к чистой, гладкой, благоухающей коже. «Да и какую помощь я могу предложить», – с некоторой безысходностью говорил себе Саша, а затем задумывался над значением этой фразы: пытался ли

он этой фразой огородить себя от тщетных попыток или же оправдывал ею свою трусость. Ответа он не находил, а потому продолжал бездействовать, хотя чувствовал отчаянное стремление к действиям.

Однако по прошествии некоторого времени, в один из тех дней, когда настроение мучителей Саши особенно располагало к соответствующим выходкам, внезапно вмешалась Василиса, и поступок этот привлек общее внимание. Мучителей на тот момент было трое, но обратилась она к одному из них. – Зачем ты это делаешь? – спросила Василиса голосом тихим, спокойным, но с каким-то особенным призывком, который как бы показывал ее несомненное право на вмешательство и получение ответа.

Нельзя было не заметить того отвращения, какое возникло на лице одного из обидчиков Саши, когда к нему обратилась Василиса. Отвращение вместе с презрением, выразить которое никак нельзя под угрозой наказания; жесткого наказания. И именно невозможность переступить свободу Василисы являлась своего рода подчинением ей, вызывала раздражение и гнев. Хотя до настоящей минуты свою протекцию старшеклассников она использовала лишь раз.

– Зачем ты это делаешь? – повторила Василиса с прежней интонацией, без страха заглядывая в глаза обидчика Саши.

В ответ же звучит что-то невразумительное. Обидчик при этом отводит взгляд, видимо, считая для себя унижительным смотреть Василисе в глаза; губы его искривляются в наглую ухмылочку, направленную своим друзьям для того, чтобы те поддержали его речь, однако те не отвечают, они с интересом смотрят на него и на то, как он себя поведет перед Василисой.

– Ты ведь ему должен сказать спасибо, – продолжает она и склоняет голову набок, – а знаешь почему? – И, не дожидаясь ответа, которого и так бы не поступило, Василиса отвечает сама: – Потому что не будь *его*... – Взглядом она указывает на побледневшего Сашу, после чего вновь смотрит обидчику того в глаза и произносит тихим, внушительным голосом: – Ты бы занял его место. Потому что ты следующий в этой дурацкой системе. Верхняя губа обидчика вздрагивает, ноздри его расширяются, красные пятна выступают на щеках от сдерживаемого гнева. Он вновь осматривается на своих товарищей, но те уже отступили на несколько шагов и теперь с хищными улыбками наслаждаются зрелищем.

– Вот видишь, – говорит Василиса. – Ты им не нужен. Ты им никто. Ты просто *следующий*. Но пока

есть *он*, ты вне опасности, а потому должен быть благодарен ему, потому что он терпит то, что тебе терпеть не под силу. Прикоснись к нему еще хоть раз, и будь уверен, тебе будет плохо.

После слов Василисы товарищи обидчика громко хохотали над всей ситуацией, но в большей степени над тем, что все слова ее правда. Обидчик же демонстративно фыркнул, затем плюнул в ноги Саше и, схватив свой рюкзак, едва ли не выбежал из класса.

«Спасибо», – сказал про себя Саша, но как бы сильно ни хотелось произнести это вслух, он не мог побороть в себе какой-то ступор. Вместо слов он лишь выдал дрожащую улыбку и в несколько движений то ли кивнул, то ли поклонился Василисе. Звонок на урок и вошедшая учительница наконец прервали неловкую паузу, после которой Саша тотчас отвернулся к учебнику и старался в течение всего урока не смотреть на Василису. Он чувствовал себя обязанным ей, однако не знал, как выказать свою благодарность, чтобы она стала равноценной свершившемуся ее поступку.

После урока, который был последним на сегодняшней день, Василиса первой вышла из класса, несмотря на то что заметила робкое движение Саши в ее сторону, однако дождалась его уже на улице.

– Пройдемся, – просто сказала Василиса и улыбнулась.

Она была выше ростом и казалась взрослее, как, впрочем, и все девочки в таком возрасте в сравнении с мальчиками. Одетая она была в черное пальто и высокие сапоги; шапку никогда не носила, несмотря на холод. Саша же в своей болоньевой куртке и теплой шапке казался себе плюшевой игрушкой, ребенком: глупым, незрелым, не знающим, как себя надо вести. В дополнение к тому пахла Василиса каким-то особенными духами, немного горькими; явно не такими, какими пользовались ее сверстницы – более приторными, насыщенными, как бы детскими.

– Знаешь, – начала она после недолгой паузы, – ты похож на ягненка. В смысле не на маленького зверя, нет. Но ты как тот ягненок, которого так любили приносить в жертву. Агнец. Ты ведь веришь, да? Веришь в Его существование, и это делает тебя таким выносливым.

Саша обратил было на нее полный изумления и надежды взгляд, но, ощутив, что взгляд этот слишком откровенен и многозначителен, вновь опустил голову и в мыслях осадил себя за возникшее новое чувство, о природе которого не имел понятия; хотя отчетливо знал, что оно не пошло, но в нем было желание раскрыться перед ней и тотчас высказать

все свои тайны, все свои мысли, что nepозволи-тельно было делать.

- Я видела крестик у тебя на шее и видела, как часто ты его касаешься, когда волнуешься или задумываешься. Наверное, ты и сам не замечаешь этого, да?
- Наверное, – пробормотал Саша, хотя желал сказать что-то более умное, более развернутое, но в настоящую минуту он не был способен ни на какие сложные мыслительные процессы.

По прошествии, наверное, пяти минут Василиса повернула голову к Саше и быстро попрощалась, сказав:

- Тут мне в другую сторону. До завтра, ягненок.
- До... завтра, – только и смог сказать Саша, подняв ладонь.

С этого дня все нападки со стороны одноклассников прекратились, вместе с тем начали ходить разные слухи, один из которых говорил, что Василиса – родная сестра Саши, потому цвет волосы у обоих светлый. Вместе с тем Саша начал замечать, как обидчика его начали подначивать товарищи, чтобы тот вопреки указанию Василисы предпринял что-то в отношении Саши. Подначивания эти со временем начали обретать характер насмешек; насмешки превратились в издевательства, а издевательства – в травлю. В начале этого разрушительного процесса обидчик Саши еще пытался сам смеяться над шутками товарищей и над собой, но в смехе его отчетливо звучали страх и неуверенность. Он не владел ситуацией и все еще пытался доказать, что он часть того сообщества, на стороне которого сила; доказать не себе, но остальным, потому что сам он знал, что не является частью; он лишь овца в шкуре волка, которая пряталась среди других волков и питалась мясом своих сородищей. А теперь, когда шкура была сброшена, овца эта тщетно пыталась рычать и продолжать жить в волчьей стае, по волчьим законам. Это и стало всеобщим посмешищем, вызвавшим травлю.

Среди девушек ходили и другие слухи про Василису: будто бы связь той с одиннадцатиклассниками не останавливается на одних общении и дружбе, но тянется куда глубже. «Глубже, чем можно проглотить!» – шептали они и громко смеялись. Слухи эти возмущали Сашу, ему хотелось вразумить всех, что Василиса куда лучший человек, чем все они, вместе взятые; что она чиста и не может поступать так, как о ней говорят. Но он молчал, зная, что слово его в обществе не стоит ничего, а быть может, и вовсе усугубит эти слухи.

С того самого дня Василиса всегда прогуливалась с Сашей после школы по пути домой. Наверное, она

нашла в нем не простого слушателя, но человека, способного понять и принять ее без всякого суда.

В первые недели их общения Саша пребывал в нервно возбужденном состоянии от того, что он так или иначе полезен такой девушке, как Василиса, что она нуждается в нем. Мысли эти не могли не льстить самолюбию, даже такому крошечному, какое есть у Саши. Ему нравилось слушать ее голос, ему нравилось находиться с ней рядом; он чувствовал себя востребованным, что означало в нем наличие какой-то особенности. Вместе с тем он сильно желал, чтобы Василиса переживала те же чувства. Несмотря на то что она каждый день уходила в компанию совсем других людей – старше Саши, более влиятельных, если рассматривать понятие «влиятельные» именно глазами подростков, более сильных, красивых и более успешных, – несмотря на это Саша не ревновал и не чувствовал себя неполноценным в сравнении с ее кругом общения; наверное, потому, что он знал наверняка: завтра они вновь будут прогуливаться вместе после школы. «Ведь есть во мне что-то такое, что ей необходимо, по крайней мере сейчас», – с тихой радостью думал он, при этом зная, что так не может продолжаться вечно.

В одну из таких прогулок Василиса молчала почти всю дорогу до того места, где они обычно расходились. Саша также молчал, считая, что настроение Василисы требует тишины. «Бывает же такое, что хочется помолчать рядом с... – думал Саша и все хотел сказать про себя: *близким человеком*, однако никак не мог считать таковым для Василисы, – рядом с другом», – закончил он, веря, что откровения ее заслуживает только *друг*, а не просто знакомый. Пройдя же заветную развилку в прежнем молчании, Саша напрягся. Он и хотел бы сказать, что она, вероятно, задумалась и потому пропустила поворот домой, но не мог, потому что желание находиться рядом было сильнее. Саша знал эгоистическую природу своего желания, знал о пусть незначительном, но все-таки ощутимом вреде, который эгоизм может причинить. Он знал, но утешался *ответственностью*: готовностью понести наказание, готовностью всеми силами исправить все последствия своего поступка.

Тогда Саша не понимал, что действия его походили на действия отца.

- Ты можешь пригласить меня к себе? – с некоторым усилием произнесла Василиса, остановившись. На щеках ее появился легкий румянец, который заметил Саша и тоже покраснел. – Я хотела что-то тебе рассказать, но на улице, на морозе это неудобно, это долго. Холодно ведь. Я бы пригласила тебя к себе, но отец... я рассказывала,

что он снова запил и потому... – Она продолжала смущаться все больше, и голос все более начинал дрожать, а затем и вовсе затих.

- Конечно! – выпалил Саша. Сам не осознавая своих действий, он сжал руку Василисы в своих руках, не в силах долее смотреть на ее смущение и на те мучительные усилия, которые она прилагала, чтобы это произнести. – Мама сейчас на работе, да и она никак нам помешать не может, ты ведь...
- Да, знаю. Она у тебя хорошая, я помню, – перебивает Василиса с улыбкой облегчения, а затем добавляет голосом тихим и теплым: – Спасибо.

Когда они вошли в квартиру, Саша старался, как хозяин, всячески услужить Василисе: он снял с нее пальто, предложил согреть чай, указал рукой на свою комнату. Он волновался, что квартира его покажется Василисе устаревшей, может быть, даже детской, однако Василиса осматривалась с интересом, она остановилась перед образом, который заметила за приоткрытой дверью в комнате матери.

- У вас здесь так уютно, – сказала она, потирая себе плечи.
- Отец оставил нам квартиру. Он ею занимался, мы же ничего не меняли, – произнес Саша и сам удивился тому, как просто он упомянул отца, впервые долгое время.
- А у нас краска от стен отслаивается, и полы деревянные, как в школе. Даже цвет такой же кирпичный, – с принужденной улыбкой сказала Василиса

Саша понимал, что таким отвлеченными темами она как бы подготавливает себя к тому разговору, ради которого пришла; а потому не спешил, но даже наоборот, всячески оттягивал наступление того самого момента.

Только после второй чашки чая выражение лица Василисы изменилось. Беззаботная улыбка исчезла, и она начала покусывать нижнюю губу; взгляд сосредоточился на одной точке, как бывает, когда человек старается сформулировать какую-то сложную для него мысль.

- Знаешь, – начала она, ласково глядя чашку указательным пальцем. – Обо мне ходят слухи... – Сказав это, она мельком посмотрела Саше в глаза; тот в свою очередь напрягся, выпрямился в спине и весь обратился в слух. – Гадкие слухи, унижительные. Будто бы я... со старшекласниками... – шепчет Василиса с секундными паузами. – Гадко то, что это правда. – Она вновь замолкает и на мгновение всматривается в глаза Саши. В этот момент с самого его затылка и до поясницы рассыпалась холодная дрожь; что-то похожее

произошло и в голове, только вместо мурашек были образы: откровенные и пошлые, уничтожающие всю чистоту Василисы. – Унижительно то, что причина моих поступков не та, что в этих слухах. Просто... я в каком-то смысле такая же, как ты: я беззащитна, я бессильна, я просто забитое и слабое существо, которое нуждается в защите посторонней, без нее я просто перестану быть, я исчезну, но я хочу жить, хочу радоваться, хочу, чтобы в воспоминаниях моих были такие вот моменты, как сейчас... – Василиса прерывается; на губах ее рефлекторно вздрагивает улыбка, та улыбка, которая призвана утаить внутреннее горе и с которой она, как кажется Саше, борется, чтобы переступить через себя и полностью открыться. – Но у тебя есть Бог, твой Бог, который спасает тебя. Ведь все видят, все, понимаешь, пусть и сквозь насмешки, но все видят, что тебя ничто не может сломить, потому что твоя вера не оставляет тебя, ты никогда не бываешь одинок. А я не такая, я не могу так. Не чувствую, хотя и пыталась, но это не мое, не могу. Принуждать же себя... ты знаешь, что это самообман, это не тот путь, это все не то. И потому я выбрала такой низкий способ защиты себя, единственно доступный, потому что я слаба; слаба, но жажду жить, а потому готова, наверное, на все. Ведь куда уж хуже! У тебя вера в Бога, а у меня, кажется, сделка с Дьяволом. – Василиса истерически усмеивается, но тотчас берет себя в руки и продолжает: – Прозаично. Но ведь только так я выживаю. По крайней мере, я делаю это по своей воле, а не по принуждению. Это меня утешает. Хоть как-то утешает. Я говорю это тебе потому, что знаю: ты не осудишь, ты примешь меня. Ты не станешь пытаться помочь, пытаться изменить меня, ты просто примешь меня такой, а ведь именно того мне и нужно – принятие и понимание, ничего больше; ни помощи, ни убеждений или чего еще хуже. Только понимание и принятие. Ты не делаешь меня лучше, не делаешь хуже, но своим присутствием ты как бы принимаешь меня, и я сама начинаю принимать себя, понимаешь? Видя, что ты можешь принять меня, понять меня, я и сама в какой-то мере могу принять и понять себя, и мне становится легче. Только не думай, что я пользуюсь тобой, нет. Совсе нет. С тобой я живу. Хотя ты далек для меня так же, как, наверное, кажусь тебе далекой я. Часто я стыжусь того, что своим общением могу запятнать тебя, испортить или изменить. Все это так непросто. В смысле понять: плохо ли это по-настоящему

или нет. Тяжело понять, что значит *по-настоящему*. Мне очень бы хотелось увериться, что наше общение – это хорошо, это правильно и нет в нем ничего плохого. Что я не порчу тебя.

Не шевелясь и почти не моргая, Саша слушал признание Василисы с напряженным вниманием, и хотя все услышанное было далеко от его понимания, он видел боль в ее лице, он слышал страдания в ее голосе. Саша никак не понимал, почему он далек для нее; ведь вот он, здесь, рядом, готовый на любой поступок ради ее успокоения, и ничего не мешает их сближению. Но так он думал тогда, но только впоследствии понял, что физическое их сближение не стало бы тождественно сближению духовному. И если Василиса могла быть ближе для Саши, то Саша оставался неким недостижимым идеалом для Василисы, способным сохранять свою целостность всегда, в отличие от нее, вынужденной жертвовать какой-то своей частью, отдавать ее на растерзание миру, чтобы взамен получать защиту и подобие покоя. Жертва эта казалась Василисе признаком существа слабого, подневольного и низменного, неспособного на те чувства и даже на такую жизнь, на которую способен Саша, и потому как бы сильно она ни желала быть ближе к нему – она не могла.

Он хотел ее успокоить, чувствовал некоторую потребность что-то сказать, внушить свое участие взглядом, объятиями, но не мог. Саша знал, что всякая его инициатива станет неуместной, неуклюжей; жалкой карикатурой на то, *как* на самом деле должно быть. Он не понимал ошибочность своих мыслей – отсутствие опыта и некоторая стереотипность мышления, свойственная его возрасту, уверяли, что любые действия должны *выглядеть* так же идеально, как в воображении, и только в таком случае они возымеют силу. Хотя совсем неважно, *как* это выглядит; важно, *с каким* чувством это совершается.

– И знаешь, – продолжала Василиса, – я думала о том, что могу вызвать у кого-то жалость, сочувствие, желание помочь, исправить, ведь всегда есть такие люди; ты такой, это видно, это нельзя скрыть. Я думала, и... все это ни к чему не приведет, а знаешь почему? Потому что это рефлекс, это как у животных, в любой стрессовой ситуации я прибегу к тому, что уже испробовано, что точно работает, прибегу к этому унижительному способу выживать, потому что однажды смогла, смогу и еще. И даже если меня закрыть, спрятать от всех, то я буду чувствовать себя спрятанным от всех монстром, таким, которых держат в подвале, и ладно, что те монстры не знают, кто они, а ведь я знаю, кто я, понимаешь?

Попытаться помочь мне – это как заставить собаку поверить в то, что она не собака: заставить ходить ее на задних лапах, заставить есть со стола. Понимаешь? Так можно, но собачью природу ее не изменить.

Перед уходом своим Василиса обняла Сашу, поблагодарила за чай и за то, что тот выслушал ее, а затем попросила никогда не припоминать этот разговор. «Пусть все будет, как раньше, – сказала она, – а этот момент, надеюсь, не изменит твоего ко мне отношения».

Несмотря на уверенность Василисы в способности Сашиного сердца принимать ее без какого-либо суда, она не могла знать о том влиянии, какое оказала на него, забитого, одинокого мальчишку, который не только впервые чувствует тепло отношений дружеских, но и, как и все в его возрасте, подвержен желанию пола. Саша действительно принимал Василису, хотя и не совсем понимал; принятие же это исходило не только от доброго сердца; Василиса явилась первым человеком, защитившим его, проявившим сочувствие и заботу, после чего своим откровением она, сама того не желая, принудила Сашу почувствовать себя особенным, единственным среди всех... а оттого и влюбленным.

Они продолжали гулять после школы, как прежде.

Впоследствии Саша вспоминал этот период как один из самых значимых, самых лучших периодов своей жизни. Потому что связь с Василисой открыла ему маленькие земные радости в общении с человеком; он впервые почувствовал уют от общества и непринужденного разговора, где не важны тема и суть, но важна равноценность получаемых и отдаваемых эмоций и чувств.

Однако по прошествии нескольких месяцев Василиса исчезла. Она никогда не говорила о том, что может вот так пропасть, уехать, испариться, или, по крайней мере, хочет. В поведении ее также не было предпосылок к тому. Саша не мог верить, будто Василиса после всего могла бросить его, не сказав ни слова. От бессилия и невозможности что-либо предпринять Саша начал ходить по тем местам, где она, по его мнению, гуляла со своими друзьями; в любом скоплении людей он невольно выискивал Василису, ее светлые длинные волосы, ее запах, жаждал услышать ее голос. Часто Саша загуливался допоздна. Он искал Василису, зная о тщетности своих попыток, но искал потому, что не мог не искать, не мог не принимать каких бы то ни было мер. Перед сном в своих молитвах он всегда упоминал Василису и просил любую весточку если не о ее местонахождении, то хотя бы о ее благополучии.

И в один из дней он получил такую весточку о Василисе, правда, как слух, но Саша был рад любому упоминанию о том, где она и что с ней случилось.

«Лошадка наша, – негромко говорил один из одноклассников Саши, обращаясь ко всему классу, который окружил его в ожидании каких-нибудь скандальных новостей, потому что о другом у них рассказывать было не принято, – допрыгалась наконец. – Произносил он это голосом нарочито тихим, хриплым, с некоторой небрежной важностью, словно бы повидал куда более скверные вещи, чем те, о которых собирается сказать. – На Новый год, говорят, на вписке, слишком уж много выпила, да и потерялась: от одного сразу под другого. Не понравилось это некоторым. – Рассказывающий сделал многозначительную паузу, хмыкнул, осмотрел всех, а затем продолжил: – Не понравилось. Говорят, как увидели... так и по кругу ее... всю ночь; а потом пьяную так и выгнали на улицу, и бросили; а перед тем – несколько раз по лицу, чтобы знала... Рассказывали, что дома еще и отец ей добавил; затем в больницу попала, а из больницы бабка ее, говорят, увезла куда-то: то ли в деревню к себе, то ли в другой город.

– А в какую деревню? – как-то само вырвалось у Саши тотчас, как одноклассник закончил свой рассказ.

Он и не хотел спрашивать, не хотел показывать своего участия, но услышанное вызвало настолько сильное волнение, что лицо его побледнело и покрылось испариной, дыхание участилось. Саше становилось тесно и душно в этом кабинете, среди этих людей; собственная одежда душила, и каждый вдох, кажется, все более лишал его сил.

Все присутствующие повернули головы к Саше; ему показалось, что общий взгляд *этих людей* содер­жал в себе какое-то презрение, брезгливость, как если бы все они выбросили какую-нибудь игрушку в мусорный бак, зловонный и полный всяческих нечистот, а Саша бросился бы в этот бак, зарылся с головой в его содержимое с одной только целью: отыскать выброшенную игрушку, которая теперь никому и даром не нужна. Вместе с презрением и брезгливостью присутствовала во взглядах какая-то торжественная нелицеприятность, словно все свершившееся – абсолютно справедливо по понятиям, которые в известных кругах стоят выше морали и законов.

– Всякий мученик ближе к Богу, – ответила мать, когда Саша решился рассказать ей о Василисе и о случившемся, хотя и умолчал о своих с ней встречах и тем более об откровении. – Быть мо-

жет, таким образом Он готовит ее к тому, чтобы принять к себе.

- Но неужели только *так*?! Неужели нельзя по-другому? – выкрикнул Саша, сам того не желая.
- Не нам решать, – тихо и смиренно ответила мать. – Нам и понять не дано. Ты вновь пытаешься *понять*, понять разумом, ты пытаешься судить, хотя и права на то не имеешь. Но видно, что это от привязанности к этой девочке, ты желаешь ей лучшего – отсюда твое возмущение.

Саша покраснел и ничего не сказал; только опустил голову, тем самым как бы покоряясь случившемуся, хотя какие-то противоречия и жажда борьбы по-прежнему обжигали его сердце. Но шло время; Саша, вновь обретший одиночество, смирился всей душой и всем сердцем. Воспоминания больше не сквозили прежними страстями и чувствами.

Прошло еще несколько лет, в которые Саша оставался перед выбором своей будущности – местная семинария и служение Богу или медицинская академия и служение людям. Однако в семнадцатый день рождения Саши мама его, Арина Сергеевна, слегла в постель с высокой температурой.

- Всякий мученик ближе к Богу, – обратилась она к Саше, повторяя то, что так часто повторяла про себя, – теперь и моя очередь. Я это чувствую, я это знаю. Пришло и мое время, только нужно потерпеть, иначе никак.

Вызванная скорая помощь разродилась двумя особами в белых халатах: мужчиной и молоденькой девушкой. От мужчины сильно пахло алкоголем и табаком; девушка казалась равнодушной ремесленницей, действия которой были точны и как бы рефлекторны, оттого казалось, будто думает она совершенно о постороннем. Был ли врачом тот мужчина или только фельдшером – неизвестно. Он только поставил укол, наследил грязной обувью и уехал. Температура спала, но лишь на время.

«Видимо, такие люди и способствуют воле Его», – многим позже не без злобы подытожит Саша.

- Оставь, – сказала тогда Арина Сергеевна сыну. – Время мое пришло, позволь мне уйти спокойно. Я знаю, чего сердце твое хочет, но порывы твои лишь больше мучений принесут. Больше и тебе, и мне. Я знала, я давно уж это чувствовала, и теперь готова.

Но вопреки всем просьбам и мольбам Саша отвез ее в больницу. Там диагностировали лейкемию. Последовала госпитализация, врач озвучивал стоимость лечения, и услышанные суммы шокировали Сашу. Но более удивляло его то, что жизнь его матери имела цену; определенное число.

– Оставь, – с еще большей мольбой в слабом голосе обращалась Арина Сергеевна к Саше. – Ведь не позволено, если суждено мне.

– Тогда почему совесть моя не позволяет мне оставить тебя! – с ожесточением выкрикнул Саша, стоя над кроватью матери. – Почему? Почему я не могу сидеть сложа руки, если Ему то и надо!

– Значит, так надо, значит, и ты за меня должен пострадать, – с кроткой улыбкой ответила та. – Прости меня за эти страдания.

Тогда Саша ничего не сказал и с остервенением выбежал из больницы. Он обращался куда только мог с просьбой о деньгах на лечение; даже в те инстанции, которые вовсе для того не предназначены. Каким-то образом Саша даже отыскал номер телефона отца, как единственного человека, связанного с ним и его матерью. Позвонив и рассказав о случившейся беде, Саша услышал те слова, которые и решили его будущность:

– Слышишь голоса? – говорил отец принужденно спокойным голосом. Саша действительно слышал детские голоса во время всего разговора. Голоса, смех, какую-то возню. – Это мои дети, две дочки, это моя семья, понимаешь? Неужели ты хочешь, чтобы я вручил тебе такие огромные деньги; хочешь оставить их ни с чем? Ты хочешь отобрать последний хлеб у моих детей?

– Хлеб... дети... – сам не свой шептал Саша. – Нехорошо брать хлеб у детей.

– Именно. Нехорошо.

– Нехорошо брать хлеб у детей и давать их псам, – продолжал шептать Саша.

– Что? Какие еще?..

– Но ведь крохи от детей падают под стол, и псы едят эти крохи!* – выкрикнул Саша в каком-то бреду.

– Мои алименты и есть ваши крохи, – холодно проговорил отец и оборвал звонок.

Какое-то время Саша сидел без движений и смотрел на свой телефон ничего не видящим взглядом. Он чувствовал, что внутри него формируется что-то новое, не совсем ясное, но это образование – Саша

знал наверняка – заполнит все существо: и разум, и сердце, и душу – и полностью изменит все представления его.

По прошествии же десяти месяцев с момента похорон Арины Сергеевны Саша узнал о смерти отца через уведомление о назначенном ему наследстве. В наследстве же этом значилась сумма, которую вымалывал Саша для лечения матери: ни больше, ни меньше. Он усмехнулся тогда: не искренне, но и не безумно – скорее принужденно, словно нечто невидимое растянуло его дрожащие губы; после чего с видимым усилием поднял голову и посмотрел в серое небо за окном, алчущим до правды взглядом. «Как это?.. – подумал Саша, зажмурил глаза и тотчас скрыл свою ухмылку за ладонями, словно какое-то уродство. – Как же это?» Тогда же он вспомнил последний свой разговор с отцом, вспомнил те ощущения от образования чего-то нового в себе, но только сейчас он понял, что это было – не потеря веры, но, скорее, потеря любви к Нему. Ведь не может человек потерять то, что, наверное, являлось неотъемлемой его частью еще до понимания наличия самой такой части. Однако может измениться отношение к тому. Каждый человек способен полюбить другого человека, и после предательства он не лишается такой способности, но отношение его к этому чувству резко меняется. То же произошло и с Сашей: он не потерял, не лишился веры, но перестал принимать ее, а затем начал всячески отторгать – относиться с пренебрежительной иронией, насмехаться; Саша по-прежнему видел проявление не воли человеческой, а воли Божьей, но в неясности ее, в отсутствии понимания он видел раздражающую несправедливость. «И какой пример в искушениях *его*, ведь *он*-то знал откуда пришел и куда идет, *он* знал, почему все свершается так, как свершается. Разве знание такое не делает подобный путь легким? Пройти такой путь, будучи *Богом*!.. Вот будучи *человеком* – это, может быть, еще и будет примером, будет подвигом, а это...»

* Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22-го по 28-й.

22. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 23. Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. 24. Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. 25. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 26. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 27. Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. 28. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.

